



XVII^E CONGRÈS INTERNATIONAL
(EXTRAORDINAIRE) DES SLAVISTES

ALLOCUTIONS À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
D'OUVERTURE DU XVII^E CONGRÈS
INTERNATIONAL DES SLAVISTES

Paris 2025

© Institut d'études slaves, 2025
ISBN 978-2-7204-0686-7

Allocution de Boris AKOUNINE	2
Les congrès internationaux des slavistes : histoire et idées Giovanna BROGI	8
La Russie à nouveau absente et présente Georges NIVAT	18
A la recherche de composants perdus : observations sur les composés nominaux slaves obscurcis Aleksandar LOMA	22

Allocution à la séance plénière d'ouverture du XVII^e Congrès international des Slavistes à la Sorbonne

Boris AKOUNINE

Мы с вами переживаем исторические времена, тревожные времена, и говорить я буду об истории и о тревогах.

Я расскажу вам о том, как и почему я превратился из автора легкомысленных детективов в автора тяжеловесных исторических обзоров.

Думаю что по моей писательской эволюции очень удобно изучать процессы, происходящие в российской литературе. В частности, ее переход, а вернее сказать, возвращение от временной несерьезности к извечной серьезности.

Фабула, собственно, описана еще баснописцем Крыловым : « Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, уж зима глядит в глаза ».

И «лето красное», и «зима» здесь – исторические эпохи. Я как беллетрист Борис Акунин появился во времена, когда все поверили Френсису Фукуяме, что история закончилась, теперь всё будет хорошо. Особенно сладостно было ощущать конец истории в России, где, как сказал Корней Чуковский, нужно жить долго, имея в виду что тогда в конце концов, может быть, доживешь до приличных времен. Корней Иванович прожил 87 лет, но до приличных времен не дожил, умер во время очередного политического похолодания, а мое поколение наконец дождалось, думал я в конце девяностых.

И с огромным удовольствием стал сочинять развлекательную литературу для зарождающегося среднего класса. Кроме веры в правоту Фукуямы я еще твердо верил в Абрахама Маслоу. В то, что Россия начала карабкаться на его пирамиду и со временем всё наладится. В нулевые годы, когда вновь начались заморозки, я много раз говорил и писал, что это фантомные боли, они пройдут. Существуют законы исторической эволюции, они сработают и в России. Когда пропорция среднего класса достигнет определенной отметки, демократия победит империю.

В 2011 – 2013 годах, когда в России началось движение за честные выборы, я был уверен, что мы достигли уже 4 этажа пирамиды, когда общество начинает требовать уважения. Я и сам активно участвовал в этом движении, излучая на митингах оптимизм и уверенность в победе прогресса над архаикой. Но тут «лето красное» закончилось, и наступила «зима».

Большим потрясением для меня стали события 2014 года. Не столько даже захват Крыма и нападение на Украину, сколько широкая народная поддержка этой агрессии, резкий взлет популярности Путина. Можно бороться с диктатором, но бороться с 87 процентами соотечественников, поддерживающих диктатора, занятие бессмысленное, подумал я. И уехал из России.

Нельзя сказать, чтобы события 2014 года стали для меня совсем уж громом среди ясного неба. Еще в 2012 году, когда демократическая волна пошла на убыль, я начал подозревать, что Россия возводит не пирамиду Маслоу, а какую-то иную конструкцию. Что у российской исторической эволюции некие собственные законы и что я этих законов не понимаю.

Я по университетскому образованию историк, всю жизнь я интересовался историей, читал исторические книги, но оказалось, что я не понимаю собственной страны. И что все существующие толкования ее истории меня не устраивают, не объясняют мне главного. Нужно какое-то объяснение.

Когда писатель чего-то не понимает, но очень хочет понять, он начинает писать про это книги. И я начал писать многотомную историю российского государства. Можно назвать меня «историком поневоле».

Эта работа растянулась на 12 лет и вылилась в 10 увесистых томов.



Ничего необычного в том, что историю страны пишет не ученый, а писатель, нет.

Желание написать историю страны для широкой аудитории не научным, а живым языком, свойственно писателям по меньшей мере уже лет двести – если не углубляться во времена Геродота и Тацита, в общем-то тоже не сказать чтобы академиков.

Книги по истории писал фантаст Айзек Азимов. Сегодня замечательный британец Питер Акройд том за томом пишет «Историю Англии», а мой коллега-детективщик Перес Реверте выпустил «Историю Испании».

Первый российский историк Карамзин на самом деле тоже был беллетристом, и его «История государства российского» написана очень беллетристично, в расчете на массового читателя.

Необычным в моем случае является другое – авторская мотивация.

Обычно автор хочет что-то рассказать аудитории, поделиться с нею знаниями, изложить ей свою концепцию и убедить в правоте своего видения.

У меня, когда я начинал, не было ни достаточного знания истории, ни понимания, ни тем более концепции.

Я решил, что проведу эксперимент. Буду идти вместе с моими читателями от века к веку, разбираясь в нагромождении мифов и фактов – в надежде, что может быть в ходе этого путешествия найдется ответ на занимающий меня вопрос: что такое российское государство и почему оно все время, раз за разом, сворачивает на одну и ту же тропу.

Первые два тома я оставался в тумане. Лишь добросовестно разбирался, что в традиционном изложении российской истории скорее всего правда, а что скорее всего миф.

Свет забрезжил, когда добрался до 15 века. И постепенно выстроилась концепция, с каждым следующим томом всё более определенная. Во всяком случае мне самому она показалась убедительной.

Последний, 10 том моей «Истории российского государства» выходил уже не в России. Там мои книги окончательно запретили, а меня объявили преступником. В том

числе из-за моих исторических штудий. Как вы знаете, в путинской России к истории отношение особенное, она считается важным государственным делом. За оспаривание официальной версии можно угодить и в тюрьму.

А в этом году, только что, я описал историю России еще раз. Теперь в одном томе.

И авторская мотивация была уже обычной - поделиться с читателями своим видением. Если получится, убедить в его правильности. Это дайджет десятитомника, делающий упор на логику общественно-политических процессов. А она по-моему убеждению есть, и то, что происходит сегодня с Россией, объясняется не плохим Путиным или плохим народом, а объективными причинами. По-другому, я уверен, сложиться и не могло.



Название «Златая цепь на дубе том» взято из поэтического текста, известного всем россиянам с первого класса.

У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том,
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом.
Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит...

«В этих хрестоматийных строках... содержится – мое личное открытие – код к пониманию всей российской истории, - пишу я в предисловии. - Дуб зелёный – это Россия, а златая цепь – сковывающая страну неизбежность, из-за которой российская история столь фатально циклична: влево – и снова вправо, влево – и снова вправо. Кот учёный, ясное дело, – российский Историк. В реакционные времена он идёт направо и говорит страшную сказку о том, что судьба России – Величие, в либеральные времена заводит сладостную песнь о том, что Россия рождена для Свободы. Сама Россия тоже качает листвою по направлению ветра попеременно то влево, то вправо, но дуб при этом остается на том же самом месте, скованный всё той же цепью».

У книги есть подназвание «Викистория русского государства».

Чтобы логика не тонула в деталях, я построил книгу по принципу «Википедии» или же, если придерживаться русского колорита, по принципу матрешки: внутри основного текста спрятаны дополнительные. Каждая глава делится на два раздела. Первый называется: «Основное», второй называется «Подробности». Если читателя

интересует лишь моя концепция, довольно прочитав только первые разделы книги - это можно сделать за один час. В сухом и лаконичном тексте, описывающем лишь самую суть данной эпохи, выделены некоторые фразы, имена или слова, к каждому из которых в разделе «Подробности» привязан отдельный рассказ. Книгу лучше всего читать так: сначала про то, *что* произошло, а затем про то, *как* это происходило.

Есть у книги еще одна особенность.

Текст сопровождается приложением «Портретная галерея».

Российская история особенно познавательна, потому что сложившаяся здесь государственная конструкция в силу чрезвычайной централизованности управления всегда очень зависела от личных качеств правителя. Абсолютные монархии и тоталитарные диктаторские режимы, разумеется, существовали и в других странах, но первые давно канули в историю, а вторые обычно заканчиваются со смертью тирана, в России же определяющая роль человека, находящегося на самом вершине властной вертикали, из века в век является константой. Русский – единственный из известных мне языков, где само слово «государство» происходит от слова «государь».

Подобно тому, как Светоний когда-то составил биографический сборник «Двенадцать цезарей», я выбрал тринадцать «цезарей», сыгравших наиболее важную роль в российской истории: один великий князь, один царь, пять императоров, одна императрица, два «вождя» и три президента. Я попытался проанализировать, как личные черты каждого из них повлияли на судьбу целой страны. Нехорошее число 13 в моем «новом Светонии» сложилось не для пущей зловещести, а случайно. Это не просто биографические портреты тринадцати людей, это тринадцать разных типов властителей и тринадцать разных типов властвования.



Совсем лаконично скажу о выводах, к которым я прихожу в моей «Истории».

Российское государство возникло не в 9-м веке и не в Киеве, как учили меня в школе и университете. От Киевской Руси оно унаследовало только два элемента: государственную религию и правящую династию Рюриковичей.

Вести российскую историю следует с середины 15 века, от великого князя московского Ивана Третьего. Построенное им государство является прямым

преемником великой азиатской империи, некогда созданной Чингисханом. Фундамент российского государства – отсюда, все его несущие опоры тоже. И они - это главное мое осознание - остались всё теми же.

Поэтому я называю такую модель государства «государством ордынского типа».

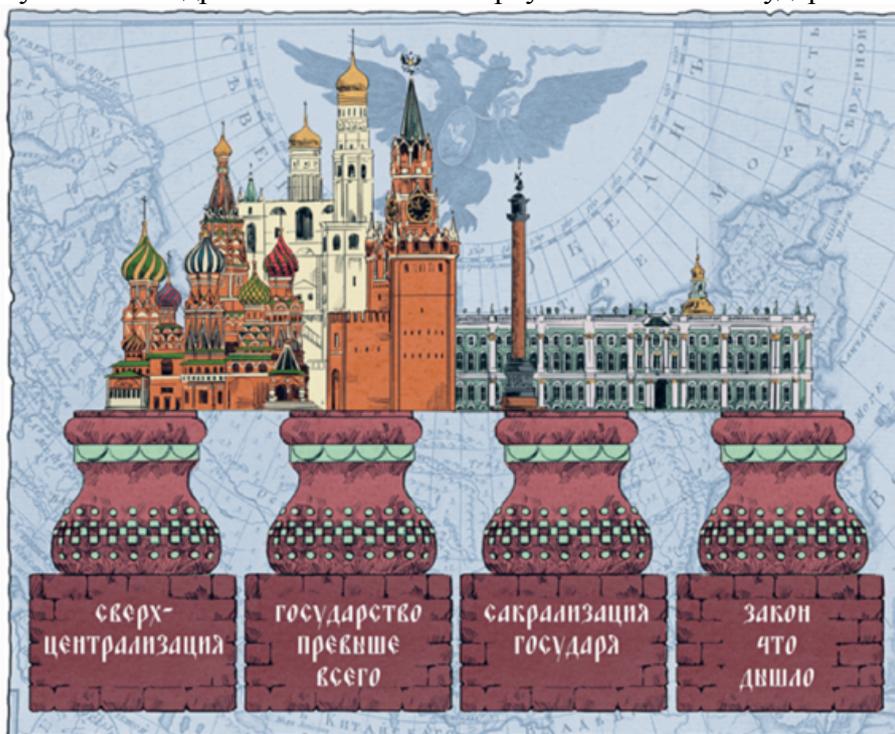
Четыре его неперенные атрибута, четыре колонны, на которых оно держится, таковы:

1. Система власти жёстко вертикальна и гиперцентрализована. Все решения принимаются в одной точке – как правило, одним человеком, государем.

2. Все жители страны должны служить государству, которое объявляется высшей целью и высшим смыслом страны.

3. Фигура государя, как бы он на данном историческом отрезке ни назывался, должна быть сакральной, недоступной какой-либо критике.

4. «Ордынское государство» в принципе не может быть правовым. Законы в нём всегда условны и адресованы только «сверху вниз». Воля государя выше.



Нарушение этой архитектуры, ослабление или разрушение любой из четырех опор приводит к разрушению всей конструкции и последующему хаосу. Именно поэтому каждая историческая попытка либерализации неизбежно заканчивается лихорадочным восстановлением всех четырёх основ. Без них Россию сохранить единой страной невозможно.

Томас Джефферсон когда-то писал про новую страну Америку и про её деление на штаты: «Наша страна слишком велика для того, чтобы всеми её делами ведало одно правительство». Россия намного больше тогдашней Америки, но «её делами» всегда «ведало» одно центральное правительство. Для того, чтобы сохранить эту огромную, разномастную территорию под своим контролем оно вынуждено – именно *вынуждено* - опираться на силу и запугивание. В этом, собственно, суть и причина мистического метания на «золотой цепи».

В последние 30 лет мы получили очередное наглядное подтверждение этой истины. Сначала произошёл рывок к свободе, все четыре колонны разрушились, и зародились центробежные движения, чреватые распадом страны. Пришлось срочно

восстанавливать гиперцентрализацию, реанимировать идею Государства, создавать нового сакрального лидера и аннулировать независимость судебной власти. Вот, собственно, что сделал Владимир Путин: возразил традиционный формат государства.

Но меня тревожит не Путин. Я знаю, что в конце концов цепь снова натянется, диктатура рухнет, и Россия двинется в обратном направлении. Меня тревожит незыблемость «ордынских колонн». Любая власть новой России, сколь угодно демократическая, очень скоро вновь, как Ельцин в середине 90-х, окажется перед жестким выбором: или она перестанет быть властью, или она перестанет быть демократической.

Недавно я написал страшную повесть «Адвокат беса» - про то, как Путина уже нет, но всё повторяется сызнова: Россия опять превращается в империю и угрозу для соседей.

Неужто же нет выхода из этого тупика? Есть.

Единственная возможность разорвать пресловутую цепь – полностью реструктурировать государство, отказаться от идеи гиперцентрализации, стать Соединенными Штатами Евразии. Только в этом случае управление, основанное не на страхе и насилии, а на демократии, станет возможно. Для того, чтобы убедить в этом читателей, я и написал мою «Викисторию».

Заканчивается книга «Недописанной главой», в которой анализируется постсоветский, то есть нынешний период. Вот что я пишу в финале:

« В 2025 году стала меняться общая геополитическая ситуация на планете. Мировой порядок, сложившийся после победы Запада в Холодной войне, строился на существовании одного главного центра решений – в Вашингтоне. Однако сочетание двух обстоятельств - объективного (появление новой «второй сверхдержавы», Китая) и субъективного (ставка новоизбранного президента Трампа на национальные американские интересы) – по-видимому, обозначают конец тридцатипятилетней эпохи и начало новой, контуры которой пока не вполне понятны.

Несомненно, изменится и положение России, однако её будущее предсказать легче, чем будущее мира в целом. «Златая цепь на дубе том» не оставляет свободы для манёвра. Неясно, сколько времени продлится нынешний реакционный период, но ясно, чем он закончится - тем же, чем заканчивался всегда. Когда движение вправо зайдёт слишком далеко, цепь натянется до предела, и Россия повернёт в обратную сторону, к новой «оттепели».

Есть, правда, и вторая гипотетическая возможность: что пресловутая цепь от чрезмерно натяжения наконец лопнет и разлетится на звенья. Тогда в северной Евразии появится какое-то иное, конфедеративное государство, либо возникнет несколько новых независимых стран.

Тогда и можно будет дописать эту главу. Пока же – «продолжение следует».

Allocution à la séance plénière d'ouverture du XVII^e Congrès international des Slavistes à la Sorbonne

LES CONGRÈS INTERNATIONAUX DES SLAVISTES : HISTOIRE ET IDÉES

Giovanna BROGI

Dans sa description du somptueux mariage de Bona Sforza avec le Roi de Pologne Sigismond Ier en 1518, M. Bogucka trace un parallèle entre les fêtes de noces de l'époque et "les congrès internationaux de notre temps" – ici les années 1980: on préparait des œuvres d'art littéraires et des panégyriques, c'était l'occasion de grandes discussions philosophiques et scientifiques, les éminences intellectuelles se remettaient des prix et des distinctions, on liait des amitiés et des plans de collaboration qui menaient à des échanges épistolaires.¹ On peut y ajouter les jalousies, les médisances, les choses non dites, les sous-entendus politiques. Les divertissements faisaient aussi partie du jeu: en guise de tournois, pendant les congrès, on faisait des excursions, les banquets étaient prévus aussi, quoique les buffets préparés pour l'inauguration et le dernier soir fussent tout à fait insuffisants pour satisfaire la faim perpétuelle des participants venant des pays communistes (je suis toujours arrivée quand les tables étaient totalement vides).

Comme un mariage royal, les congrès internationaux des slavistes étaient préparés pendant des longues années, y être admis ou en être exclus pouvait avoir une signification politique dans l'Europe communiste, socio-universitaire dans le reste du monde.

Un premier congrès d'historiens et de philologues slaves avait déjà eu lieu à Saint Pétersbourg en 1904: il visait à établir un plan et des démarches pour l'identification, l'étude et l'édition des plus anciens monuments "de la langue, de la communication écrite (*pis'mennost'*), de la littérature et du droit" en vieux slave – des objectifs très louables!² Les premiers Congrès des Slavistes séparés des Congrès des historiens, furent organisés seulement après la Seconde Guerre Mondiale. En 1958, l'Académicien V. Vinogradov souligna la continuité des Congrès de Slavistes de l'époque poststalinienne avec la tradition des grands slavistes russes tels A.A. Šachmatov, F.F. Fortunatov et A.I. Sobolevskij, et du maître par excellence V. Jagić. Il ne mentionna pas la différence entre les trois premiers Congrès et ceux de l'après guerre, l'absence totale des Russes soviétiques dans le second congrès et les persécutions dont avaient été l'objet la slavistique et lui-même.

Le Premier Congrès se tint donc à Prague en 1929. Le lieu et la date sont significatifs. Prague avait une des plus ancienne université d'Europe (fondée en 1348), à Prague s'était tenu le Congrès Slave de 1848, à Prague avait été fondée la "Slovanská knihovna" (1924) grâce à la collection de livres donné par V.N. Tukalevskij, un des très nombreux Russes émigrés après 1917. Prague avait une vie culturelle et littéraire brillante et animée; elle avait un président qui s'appelait Tomáš Masaryk. La ville représentait le centre de cette Europe centro-orientale dont les peuples avaient reconquis leur indépendance après 1918. Rien de surprenant, donc, à ce que le Congrès de Prague fût un événement les plus remarquable de l'histoire de la slavistique. Esprit slave et individualité nationale semblaient des principes

¹ Maria Bogucka, *Bona Sforza*, Warszawa 1989, p. 69-70.

² *Pervyj s'ezd slavianskich filologiv i istorikov. I. Materialy po organizacii s'ezda*, Spb. 1904, 5, 11 (cité dans: V.V. Vinogradov, *Plenarnoe sovedanie, IV Meždunarodnyj s'ezd slavistov, Otčet*, M. 1960, p. 3). Il convient de signaler l'utilité du site "slavistik-portal.de", où l'on trouve tous les titres et les articles de tous les Congrès.

culturels, politiques et éthiques tout à fait compatibles. Le Congrès consacra l'affranchissement de la slavistique de sa précédente incorporation dans les sciences historiques et, en même temps, la variété de ses "branches" (philologie, littérature, linguistique, didactique) et des approches méthodologiques. D'un côté L. Bilec'kyj (p. 31-36) met en évidence l'importance de Kyiv pour le développement rapide et brillant des études slaves en Ukraine et en Russie, dû en bonne partie à l'école de V.N. Peretc³; de l'autre le Premier Congrès reflétait les influences des nouvelles tendances philosophiques et d'écoles méthodologiques très variées: du formalisme qui avait évolué vers le structuralisme, à la phénoménologie traditionnelle. La linguistique se focalisait autant sur les origines indoeuropéennes que sur les langues nationales et le psychologisme de Potebnja, l'esprit de l'unité slave encore vivant et l'attention aux régionalismes (serbe, slovaque, ukrainien, etc.). Remarquable était la présence du Russe N. N. Durnovo qui, après le retour en URSS, allait être fusillé en 1937. D'autres Russes venaient de l'émigration, particulièrement nombreuse et active à Prague – tels N. Trubeckoj et P.G. Bogatyrev (ce dernier devint professeur à Moscou après la Seconde guerre mondiale). J. Baudouin de Courtenay, rentré à Varsovie depuis l'indépendance de la Pologne, exposa ses théories phonétiques (il décéda peu après). Particulièrement nombreux étaient les participants ukrainiens, venant surtout – évidemment – de L'viv (alors en Pologne). On trouve encore des échos du panslavisme "à la Šafářik", bien de contributions animés de l'esprit du slavisme de Frank Wollman, et même du romantisme, par ex. dans l'engouement pour la poésie populaire. Ainsi, O. Kolesa, qui en 1929 devint membre du Slovanský ustav de l'Académie des Sciences, s'enthousiasma pour la poésie inspirée par de thèmes apocryphes tchèques, au point de les trouver plus beaux que tous les poèmes européens, comparables uniquement aux poèmes "vieux-ukrainiens kiéviens" sur la "Résurrection de Lazare" et au... "Slovo o polku Igoreve"! Ceci dit, la plupart des contributions publiées dans l'énorme volume de presque 1000 pages est de niveau élevé et pourrait encore aujourd'hui fournir d'excellentes idées pour des études philologiques sérieuses et novatrices.⁴ Il suffit d'ailleurs de citer quelques noms: J. Baudouin de Courtenay, J. Matl, G. Maver, I. Ogijenko, J. Kuryłowicz, W. Doroszewski, A. Meillet, A. Mazon, F. Dvorník, V. Mošin, M. Vasmer, J. Vajs, et bien d'autres. Remarquable est aussi la précision des longs index: Index des noms, Index des mots et Index des matières – rien à envier aux meilleurs index actuels, si faciles à compiler grâce aux moyens informatiques! À remarquer aussi – et sans surprise! – qu'il n'y a pas une seule femme parmi les participants!

L'optimisme animant le Premier Congrès devait s'être affaibli lors du Deuxième Congrès (Varsovie 1934), même si rien ne transparait dans les communications, à part leur concision.⁵ Des grands noms y présentèrent encore d'excellentes contributions: A. Meillet, S. Rospond, R. Smal'-Stoc'kyj, Z. Stieber, N. Trubeckoj, B. Unbegaun, A. Vaillant, M. Weingart, J. Kleiner, S. Vrtl-Wierczyński, G. Maver, E. Lo Gatto, et ainsi de suite. Les publications sont plus courtes, sur des thèmes traditionnels tels que le slave commun et le vieux-slave et leur héritage, la linguistique géographique, les langues slaves méridionales. Une grande attention fut accordée à l'étude comparée des littératures slaves, à la "Urheimat" et au paganisme slaves. Le 150^e anniversaire de Mickiewicz fut bien représenté (le Congrès se déroulait à Varsovie). Une nouveauté était une section dédiée aux "Sciences sociales et l'histoire de la civilisation": assez hétérogène, elle donna lieu à de papiers dédiés à la race, à une étude de V.J. Mansikka sur le culte des morts et d'autres sujets proches de

³ Parmi ses élèves sont nommés ici V. P. Adrianova, S. et V. Maslov, I. Ohijenko, S. Ščeglova, P. Fylypovyč, B. Larin, et on pourrait en ajouter bien d'autres. Le nombre des philologues slaves d'origine ukrainienne en Russie est impressionnant!

⁴ *Sborník prací I sjezdu slovanských filologů v Praze 1929*. Svazek II. *Přednášky*. Uspořádal Jiří Horák, Matyáš Murko, Miloš Weingart a Stanislav Petíra, Praha 1932.

⁵ *II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich) 23-30 września 1934 r.*, Warszawa 1934.

l'anthropologie. À propos de K. Bittner, auteur de considérations discutables sur les littératures slaves et germaniques comparées, Slavomír Wollman remarque que "après la guerre il participa activement à la liquidation des institutions slaves à Prague"⁶: nazisme et communisme s'alliaient dans la haine de l'esprit libre des Tchèques! Aucun slaviste soviétique ne participa à ce Congrès, d'ailleurs plusieurs d'entre eux étaient prisonniers en Russie, victimes du "Delo slavistov": parmi les plus connus mentionnons M. Hruševsky, D.N. Ušakov, N. K. Gudzij, M. V. Ščepkina, A.M. Seliščev, M. N. Speranskij, V. N. Peretz, V.V. Vinogradov. Ils étaient tous accusés de propagande national-fasciste, de "panslavisme", d'obscurantisme religieux. La seule "science" acceptée en linguistique fut le "marrisme"⁷. Toute institution d'études slaves fut supprimée. La slavistique devint une "fausse science", "bourgeoise" et réactionnaire, inventé en Occident par Trubetskoy, Jakobson, Bogatyrev et Vasmer. Cela ne pouvait pas ne pas influencer les participants du Deuxième Congrès à Varsovie!

Malgré l'atmosphère qui ne devait pas être joyeuse en 1939, les slavistes semblaient ne pas en démordre! En mai on publia un recueil de résumés, mais le Congrès prévu à Belgrade du 18 au 25 septembre ne se tint pas, pour de raisons évidentes. Les contributions annoncées auraient pu être de grand intérêt. La contribution valable restée de ce Congrès est le petit volume contenant des questions et des réponses⁸. Parmi les dizaines de sujets proposés j'en mentionne seulement quelques uns. Outre les thèmes classiques, tels que la durée du Slave commun, la "Méthode comparée: avantages et défauts", les éternelles questions des dictionnaires (du slave commun, du slave cyrillo-méthodien, etc.), on trouve des sujets plus "modestes", tels que la Translittération de l'alphabet cyrillique, un sujet qui semblait être plus au moins résolu jusqu'en 1990, mais qui s'impose de nouveau avec un chaos qui ne semble avoir aucune chance d'être réglé aujourd'hui! La question qui reçut le plus grand nombre de réponses (émanant toutes de Russes qui répondaient aux doutes de A. Mazon) fut le *Slovo* de Igor – faut-il s'étonner? K. Treimer fut le seul à donner une réponse à la question sur la littérature comparée slave: il identifia le baroque comme ligne de faille entre le monde byzantino-slave et romano-germanique. C'était une des premières expressions de la présence du baroque aux Congrès des slavistes. À partir des années 1960, ce thème devint un des plus fréquents et innovants des études slaves.

Déjà au IV^e Congrès de Moscou (1958) plusieurs articles des occidentaux étaient dédiés au baroque tchèque, polonais et dans les pays de la Yougoslavie, parfois en relation à la littérature russe. À ces discussions prirent part des grands spécialistes, tels que Eremin, Lotman, Matl, A. Morozov, Treimer, Lichačev, Berkov, et d'autres⁹. Malgré leur présence dans les discussions, au IV^e Congrès, les chercheurs soviétiques tardèrent à suivre ce domaine d'étude dans le cadre des Congrès internationaux: associé à la Contre-Réforme catholique et à l'Occident réactionnaire, le terme "baroque" fut longtemps banni des congrès des temps soviétiques. Dans les volumes publiés pour le IV^e Congrès, les articles dédiés au XVII^e siècle touchaient à des sujets qui démontraient la "laïcisation" ou la proximité avec les phénomènes occidentaux qui étaient considérés comme "progressistes". Le long article de M.P. Alekseev lança une excellente série d'études sur les traductions du XVII^e siècle en Russie, mais ne manqua pas de dénoncer les "préjugés" des occidentaux qui auraient souligné le retard de la

⁶ S. Wollman, *Vědecké a mimovědecké koordináty slavistických kongresů*, in: *Věda a ideológia v dejinách slavistiky*, T. Ivantýšynová Ed., Bratislava 1998, p. 16.

⁷ S. Wollman, "Pronásledování slavistů v Sovětském svazu a Slovanský ústav v Praze", *Slavia* 66, 1997, p. 1-20.

⁸ *III Congrès International des Slavistes (Philologue slaves)*, Beograd vol. I, Mai 1939, "Sous le Haut patronnage de son Altesse Royale le Prince-Régent Paul de Yougoslavie".

⁹ *IV Meždunaronyj s'ezd slavistov. Otčet*, M. 1960, 141. Malheureusement seuls les noms sont connus, les commentaires ne sont pas publiés.

réception de la pédagogie humaniste par la Russie¹⁰. O. A. Deržavina et V. Kuzmina introduisirent le thème des narrations “laïques” traduites en russe au XVII^e s. Le focus était en général sur l’inclusion de la littérature moscovite dans le contexte européen et sur la réception des certains principes de l’humanisme, toutefois avec le but de démontrer la spécificité et l’originalité des œuvres russes, surtout leur caractère progressiste. Même dans les Congrès suivants, le baroque russe resta marginal pour les chercheurs soviétiques.

En 1978, à Ljubljana, V.P. Grebenjuk, O.A. Deržavina et A.S. Eleonskaja consacrerent leurs communications à l’héritage antique dans la littérature russe du XVII^e-début du XVIII^e siècles. En 1988, V.P. Vomperskij introduisit les rhétoriques du XVII^e-XVIII^e s. dans la section linguistique. Et cela malgré le fait que, en dehors des Congrès des Slavistes, des grands spécialistes avaient publiés d’excellents travaux sur le baroque russe déjà à partir de 1968 (M.P. Morozov, A.N. Robinson, L. Sazonova, l’omniprésent D.S. Lichačev, et bien d’autres), et déjà en 1948 I. P. Eremin avait publié un article fondamental sur le style poétique de Simeon Polockij¹¹. Après la guerre, les meilleurs spécialistes faisaient donc resurgir la tradition qui avait été interrompue par le purges des années trente, mais le baroque resta peu représenté dans les Congrès des Slavistes.

Nous nous sommes égarés de la chronique des Congrès, mais la réticence envers le baroque témoigne de la détermination de l’establishment soviétique à considérer l’institution “Congrès des slavistes” comme une affaire idéologique et politique, malgré l’indéniable qualité scientifique et la bonne foi des meilleurs chercheurs et professeurs du monde. D’ailleurs, il fallut une dizaine d’années pour la “résurrection” des Congrès des slavistes après 1939. Même après 1948 la linguistique, le comparatisme et le “cosmopolitisme” (Veselovskij) furent objet de dangereuses critiques officielles. Une première tentative de M.P. Alekseev de résumer la tradition des Congrès des slavistes faillit en 1946, une seconde échoua en 1948 à cause de la rupture avec Tito. Ce ne fut qu’en 1955 qu’une centaine de slavistes se réunirent à Belgrade pour organiser un nouveau congrès: le lieu était symbolique, car dans cette ville la tradition des Congrès avait été interrompue en 1939. En 1955, Vinogradov, qui avait été arrêté deux fois et exilé en Sibérie (1929-34, 1941), fut élu Président de l’Académie des Sciences, on constitua le MKS avec la présence de Jakobson, Mazon, Vaillant, Lo Gatto. L’URSS de Khruščev cherchait de se gagner du crédit en Occident. Selon S. Wollman l’organisation du Congrès fut possible malgré la répression de la révolution en Hongrie (1956) grâce à l’œuvre de persuasion de R. Jakobson auprès de ses collègues occidentaux; les autorités soviétiques se seraient limitées à empêcher un banquet au Kremlin (“слишком много эмигрантов” – aurait-on dit!)¹².

Il est un fait que le “Dégel” permit la création d’un des plus beaux recueil des TODRL (XIX, 1963), dédié au V^e Congrès des slavistes, un programme ambitieux qui visait à

¹⁰ *Slavjanskaja filologija*. I, M. 1958, p. 275-330.

¹¹ TODRL (VI, p. 125-153). Eremin était un pionnier, il a ouvert le chemin aux publications des œuvres des poètes baroques qui parurent après 1970 par les soins de A.M. Pančenko et L.I. Sazonova. Le long article de Eremin indique les traits fondamentaux du baroque dans la poésie de Siméon Polockij, il l’insère dans le baroque européen, mais souligne une sorte de “superficialité” de l’influence antique et occidentale en Russie, et l’“inanité d’un jeu formel de mots et d’idées” dans la poésie de Siméon. En réalité, ce genre de critique servait à Eremin pour faire accepter l’œuvre des poètes baroques dans le programme d’étude de la littérature prémoderne. En général la tendance était de démontrer que le baroque russe n’avait pas de traits pessimistes et apocalyptiques, et qu’il avait une signification “progressiste” et “éducative” (*prosvetitel’naja*, cf. l’excellente synthèse de L. Sazonova, “K voprosu o poezii russkogo barokko”, *Voprosy literatury*, 1985, p. 8).

¹² S. Wollman, Vědecké a mimovědecké koordináty, p. 17. Je n’ai pas pu savoir si l’absence des “maîtres” italiens tels que Maver, Picchio, Lo Gatto, Gasparini, Verdiani était due à une opposition “politique” ou bien au hasard. Le remerciement final écrit par B. Meriggi (le seul présent) est trop mielleux pour en tirer quelque conclusion! Bien plus sobre et constructif est celui de A. Mazon, qui souhaitait sincèrement un bel avenir à la philologie slave! Cf. *IV Meždunaronyj s’ezd slavistov. Otčet*, M. 1960, p. 93, 112.

la réintégration de la littérature “vieux-russe” dans le système des littératures européennes, avec leurs analogies et leurs différences¹³.

Aux Congrès des slavistes de l'époque soviétique, on présentait en général moins des recherches nouvelles que les résultats considérés comme les meilleurs, ou bien ayant fonction programmatique. Ils offraient cependant la possibilité d'avoir un aperçu bien documenté des recherches les plus importantes dans les principales institutions de tous les pays du “bloc de l'Est”. Leurs représentants présentaient des résultats consolidés et dévoilaient les thèmes qu'il était souhaitable de suivre. Il me semble que les participants occidentaux tendaient plutôt à présenter des recherches en cours et aimaient la discussion. Chaque Congrès était l'une des rares occasions de voir en personne les protagonistes des études slaves d'Europe et d'Amérique. Les discussions étaient très animées: des questions de terminologie cachaient des conflits profonds, par exemple entre Russes et Bulgares sur le nom de vieux-slave vs. vieux bulgare. On discutait sur la dominance de la religion dans Moyen Age “russe”, la possibilité de définir des genres littéraires, l'“originalité” de la littérature médiévale slave ecclésiastique et sa “laïcité”. Par contre, l'unité des terres slaves orientales et l'héritage kiévien de Moscou étaient des tabou intouchables: particulièrement éloquents sont les articles présentés à Kyiv en 1983: V. Grebenjuk y souligna le lien direct entre la Geste d'Igor et la victoire de Kulikovo, entre le patriotisme du métropolitain Hilarion et de Dmitrij Donskoj, la continuité d'idées et de sentiments dans l'espace gigantesque des terres “vieux russes”¹⁴. A.N. Robinson eut recours au symbolisme métaphorique de l'or (*zoloto*) pour inscrire la littérature kiévienne dans le contexte de toutes les littératures du monde: il payait ainsi tribut à la grandeur russe, amadouait en même temps les Ukrainiens, en évitant de parler de la période moscovite, donc sans prendre position explicitement¹⁵.

L'esprit diplomatique était l'art le plus précieux dans les années 1970-1980. Il était également pratiqué par les chercheurs des pays slaves et pas mal d'occidentaux. En général, on tentait d'éviter les questions épineuses, mais parfois les discussions étaient très vives. En général, chacun restait sur sa position. Il est certain que l'étude de la littérature des siècles passés (X^e-XVII^e s.) permettait plus de liberté d'expression que la littérature du XX^e siècle: ce n'est pas par hasard que les chercheurs les plus doués se dédiaient à l'âge prémoderne. C'est dans ce domaine qu'on trouvait les contributions les plus intéressantes.

D'autre part, les conditionnements idéologiques étaient omniprésents et les contestations nombreuses. Le grand maître de la contestation (surtout sur l'amplitudes des traductions slaves du corpus grec byzantin) était Francis J. Thomson (1935-2021): Anglais, catholique, professeur à Anvers, il a lancé le germe du doute dans plus d'une question fondamentale de la slavistique, déclenchant des discussions très animées¹⁶. Il était objet de haine de la part de beaucoup, mais son intelligence dominait et son érudition imposait le respect même à ses adversaires.

¹³ Il faut dire que l' “internationalisation” de la littérature médiévale privilégiait la tradition slave ecclésiastique méridionale et vieux-russe, mais des sujets nouveaux devenaient possibles dans une perspective comparative, tels que le prince tchèque Bořivoj, le “Skazanie o slavjanskoj pis'mennosti”, la “Légende de Vjačeslav et Ljudmila” de Christian, Flavius Josèphe, le métropolitain Kiprian, les traductions du polonais de l'Histoire de Polikarpov, Ju. Križanič, Avvakum, et même les fragment de Qumran!

¹⁴ Grebenjuk, V. P., “Idejnoje nasledije Kijevskoj Rusi v moskovskoj literature konca XIV - pervoj poloviny XV v.”, in: *Slavjanskije literatury : IX Meždunarodnyj s'jezd slavistov : Kiev, sentjabr' 1983 g.: doklady sovetsoj delegacii* (1983), p. 51-63.

¹⁵ *Slavjanskije literatury : IX Meždunarodnyj s'jezd slavistov : Kijev, sentjabr' 1983 g.: doklady sovetsoj delegacii* (1983), p. 3-24.

¹⁶ Cf. P. Gonneau, *Revue des études slaves*, XCII, 2, 2021, p. 391-392.

Dans le domaine de la littérature “vieux-russe” (c’était le seul terme qu’on employait)¹⁷, on s’accordait à dire que des influences occidentales devenaient évidentes à partir du XVII^e siècle, mais pour les siècles précédents on tendait à souligner surtout la spécificité et la grande valeur de l’héritage vieux-russe face à la grandeur occidentale, universellement reconnue. L’esprit initial de l’unité slave qui avait inspiré les trois premiers congrès et était centré sur le triangle Prague-Varsovie-Belgrade, trouva après la guerre son centre de gravité à Moscou et chez ses satellites obéissants. Forts de leur indépendance dans la recherche et dans l’enseignement, beaucoup des participants allemands ou américains opposaient des résultats différents. L’échange d’opinions était en général intéressant, mais peu fructueux. Personnellement, en tant que représentante du monde un peu provincial de la slavistique italienne, j’ai toujours perçu les Congrès des slavistes comme une occasion de rencontrer des “maîtres”, de connaître des livres nouveaux, d’explorer de sujets inconnus. Il faut tenir compte que avant 1989 il n’y avait pas d’internet ni de catalogues électroniques. On communiquait par lettre (ce qui parfois prenait des semaines!), l’emploi du téléphone était rare en Europe de l’Est, les voyages plus rares encore et plus longs que maintenant. Le plus grand plaisir était de pouvoir aller dans une des grandes bibliothèques et de consulter les catalogues. Des informations précieuses venaient des auteurs eux-mêmes quand on avait la chance de les rencontrer. L’exposition des livres pendant les Congrès des slavistes était donc une source importante d’information pour la masse des participants. Aujourd’hui c’est moins nécessaire, mais je la considère toujours utile.

D.S. Lichačev était probablement le plus connu dans le domaine de la culture, de la littérature et de l’édition des textes “russes” prémodernes: il avait des connaissances très vastes et multiples, jouissait d’un respect absolu et eut un nombre impressionnant d’élèves. Après avoir passé cinq ans dans un des camps de l’archipel des Solovki, il sut combiner ses aptitudes philosophiques, littéraires et historiques à l’étude de la culture du monde slave orthodoxe et joua un rôle fondamental dans la connaissance que l’on acquit de ce monde en Occident. Tout en étant “adapté” au système, il reconstruisit un cadre rationnel et fascinant du long Moyen-Âge slave orthodoxe. Discuter le système de Lichačev devint une question de prestige et une preuve de reconnaissance internationale pour tout slaviste occidental. En Russie il a été objet d’un véritable culte. Son idée d’une “Pré-renaissance est-européenne” fut objet de longs débats avec R. Picchio, qui opposa l’idée de “Slavia orthodoxa” – ce terme est d’emploi courant dans le monde depuis de décennies¹⁸. Certes, après 1991 bien des méthodologies et des points de vue ont changés et Lichačev a perdu de son éclat, mais sa contribution à la connaissance du système des genres, de la Seconde influence slave méridionale, de la poésie, de l’édition des textes, des échanges entre les traditions slaves orthodoxes “régionales” reste encore un point de départ pour toute autre recherche. Au demeurant, ses thèses ne sont pas incompatibles avec le concept de “transfert culturel” formulé plus récemment par Michel Espagne¹⁹.

N’oublions pas les dizaines d’autres spécialistes participants aux Congrès qui ont fait avancer les études slaves, dans tous les pays. Parmi les personnalités les plus remarquables de la Russie il faut au moins mentionner I. N. Goleniščev-Kutuzov (1904-1969): issu de la famille du fameux général, émigré en Bulgarie et Yougoslavie, docteur de la Sorbonne (1933) il fut poète, essayiste, prisonnier pour activité prosoviétique, professeur à Budapest –

¹⁷ Pour une discussion sur ce terme (surtout l’adjectif) et la possibilité de l’éviter dans les langues occidentales, cf. P. Gonneau, I. Sorlin, V. Vodoff, « Propositions pour une terminologie en langue française du passé des Slaves orientaux », *Russia Mediaevalis*, IX.1, 1998, p. 5-12.

¹⁸ R. Picchio, “Prerinscimento est-europeo e Rinascita slava ortodossa”, *Ricerche slavistiche*, 6, 1958, p. 185-199.

¹⁹ Michel Espagne, « La notion de transfert culturel », *Revue Sciences/lettres*, 1, 2013, <https://journals.openedition.org/rsl/219>

finalement rentré en URSS (1955), auteur du plus fameux livre sur la Renaissance italienne et les littératures slaves²⁰. Ou encore N.K. Gudzij²¹, auteur de la seule histoire de la littérature russe médiévale issue du monde communiste qui valait la peine d’être lue, à côté de celles de l’émigré D. Čyževs’kyj (assez discutable, d’ailleurs) et de R. Picchio²². Dans les congrès organisés sous la bannière soviétique les chercheuses femmes étaient nombreuses et d’excellent niveau scientifique, quelques unes occupaient des postes de responsabilité dans les instituts de recherches. Néanmoins, les positions dominantes restaient entre les mains des hommes. Parmi les slavistes non russes les plus remarquables qui ont joué un rôle de premier plan dans les congrès outre ceux évoqués ci-dessus, on peut mentionner S. Wollman, J. Hamm, H. Rothe, E. Turdeanu, et bien d’autres.

Après 1958 les Congrès se succédèrent apparemment sans grandes perturbations. Les événements dramatiques de 1968 à Prague ne semblèrent pas toucher le Congrès qui venait de se conclure juste avant l’invasion des tanks soviétiques (on dit qu’on attendit la fin du congrès pour envahir!). En réalité, le compte-rendu de Markov met en évidence la pesanteur des diktats idéologiques et méthodologiques que le dogmatisme soviétique, basé sur le réalisme, voulait encore imposer à la recherche littéraire²³. L’ombre de Prague et de Danzig (1970) ne pouvait pas ne pas peser sur le Congrès de 1973 à Varsovie, quoique tout se déroule tranquillement. À Sofia en 1988, il n’y eut apparemment pas de problèmes majeurs, probablement aussi grâce à la sagesse de P. Dinekov. Personne, je crois, ne prévoyait les séismes de 1989-1991 et les Congrès se poursuivaient de manière apparemment pacifique. Chaque congrès comporte un événement funeste – on l’a souvent dit : en réalité à Kyiv en 1983 toute possibilité d’opposition était soigneusement prévenue par les autorités²⁴, nombre de dissidents étaient encore en prison ou au goulag. Ce fut l’inattendu abattage d’un avion sud-coréen qui fit surgir la menace des occidentaux de s’en aller en masse, mais encore une fois un “maître” fit valoir les principes de l’humanisme intellectuel sur les raisons politiques, cette fois en la personne de J.Hamm. En 1993, à Bratislava, qui venait d’avoir pacifiquement divorcé de Prague, non seulement le monde des Congrès, mais le monde entier était changé! On le vit dans les congrès suivants. Cracovie (1998), qui cachait avec grande dignité sa misère et montrait son énorme potentiel de vitalité et d’originalité. Ljubljana (2003), qui organisa un excellent Congrès dont je rappelle deux événements: une très forte participation des Ukrainiens, représentés par des chercheurs d’une considérable valeur et la présence de A. A. Zalijnjak (1935-2017). Il tentait de convaincre le public qu’il avait lu 27 couches d’écriture dans la cire d’une tablette trouvée récemment à Novgorod. Ce génial maître des textes sur écorce de bouleau et polémiste sur le *Dit de Igor* contre L. Leger et A. Mazon avait aussi étudié à Paris et subi l’influence de A. Martinet. En 2008, Ohrid offrit une opportunité unique pour découvrir un nouveau pays indépendant, très beau et sympathique, qui luttait avec pas mal de difficultés, mais semblait avoir trouvé à la fin un *modus vivendi* avec la Bulgarie et la Grèce qui prétendaient avoir des droits sur l’héritage macédonien (on avait

²⁰ Ital’janskoe vozroždenie i slavjanskije literatury XIV-XVI vekov, M. 1963 (traduit en italien en 1973).

²¹ Il était ukrainien et avait fréquenté le séminaire de V.N. Peretc.

²² N.K. Gudzij, *Istorija drevnej russoj literatury*, M. 1938. D. Čyževs’kyj, *A History of Ukrainian literature*, Littleton 1975; R. Picchio, *Storia della letteratura russa antica*, Milano 1959.

²³ L’expérience des Congrès des slavistes démontrerait que les résultats de la recherche en littérature sont possibles seulement “...на пути исторического изучения форм и стилей, а не на пути формалистических представлений о некоем «имманентном саморазвитии» форм, о формах как замкнутых в себе структурах и т. д. Вообще понятие структуры следует избавить от формалистического налета и видеть в нем диалектическую связь формы и содержания.” Markov déplorait aussi que peu de spécialistes hors de l’URSS, de la RDA et de la Bulgarie montrent de l’intérêt pour le réalisme socialiste (D.F. Markov, “S”ezd slavistov v Prage”, *Vestnik AN SSSR*, t. 38, vyp. 7-12, M. 1968, 90).

²⁴ Si mes informations sont exactes, on interdit à B. A. Uspenskij de se rendre à Kiev.

l'impression de retourner au Moyen-Âge!)²⁵; 2013 marqua la découverte de Minsk, complètement renouvelée, dont nul ne prévoyait la sombre saison néo-soviétique qui approchait rapidement. Je n'ai pas été à Belgrade en 2018, c'est avec curiosité et intérêt que je vois le transfert du Congrès dans un pays non-slave!

Les Congrès tenus après 1989 introduisirent nombre de thèmes nouveaux – surtout sur les littératures nouvelles et une nouvelle génération de chercheurs. D'après moi, il y avait moins de “grands maîtres”, mais pas mal de stimulations et d'idées nouvelles – peut-être d'autres que moi en ont des souvenirs différents! Les thèmes traditionnels continuaient à dominer, mais la langue, la littérature et la culture des États nouveaux furent très présentes, parfois avec des aspects curieux, mais riches de suggestions novatrices soit thématiques, soit méthodologiques. À Cracovie 1998 et à Ljubljana 2003 dominait l'esprit de joyeuse collaboration et d'optimisme.

À propos du Congrès de Bratislava 1993, il convient d'ajouter quelques lignes, car il marqua un passage non négligeable dans l'histoire des Congrès des Slavistes. À part la présence de personnages “mythiques” comme Petro Toločko, O. Trubačev, H. Lunt, H. Birnbaum, A.S. Demin, Fr. Mareš, L. Moszyński, Ju.K. Begunov, H. Rothe, F. Thomson, V.M. Živov, S. Graciotti, V. Krekoten', M. Sulyma, R. Łuźny, V. Nimčuk (pour mentionner seulement quelques uns entre ceux qui ne sont plus parmi nous) et la valeur élevée de beaucoup de communications, il vaut bien raconter un côté plus anecdotique. Depuis peu, j'avais été élue Présidente de l'Association Italienne des Slavistes, donc je participai à la réunion du Comité des Slavistes. J'étais certainement la plus jeune de tous, certains étaient des professeurs corpulents satisfaits d'eux-mêmes, à l'air d'*apparatchiki*. Se distinguaient des autres N.I. Tolstoj, qui représentait (et incarnait!) la Russie, Hans Rothe, pour l'Allemagne (déjà réunie), Fr. Thomson pour la Belgique, tous maigres, les deux premiers grands et à l'air sérieux, Francis se distinguant par l'acuité de ses observations et sa courtoise ironie.

La discussion devint animée dès que la grande question fut soulevée, probablement par Thomson, suivi par d'autres collègues occidentaux: faut-il conserver l'organisation des Congrès des slavistes, telle qu'on la connaît depuis 1958? Faut-il imprimer les communications avant le Congrès? Ne vaudrait-il pas mieux repousser la publication après le Congrès, en tenant compte des discussions suscitées par les textes? Faut-il avoir 2000 personnes pour un Congrès? Ne serait-il pas plus productif de réduire le nombre de participants et de concevoir les sessions comme des occasions de discussion et de confrontation? Je regrette de ne pas avoir pris de notes, car maintenant il m'est impossible de reconstruire les détails de la discussion. Les propositions avancées par les collègues occidentaux furent énergiquement contestées par N. Tolstoj et ses collègues ukrainiens et biélorusses. Selon un collègue russe (un ami fiable), Nikita Ilič avait ses raisons. Son refus de toute innovation s'expliquait par exemple par le fait que sans la publication préalable il aurait été impossible d'assurer la participation effective de tous; le grand nombre des participants venant de la Russie (toujours plusieurs centaines, une énorme majorité relative) était dû à la nécessité de faire participer aux Congrès non seulement les centres d'excellence des capitales, mais des dizaines de chercheurs des provinces de l'immense Fédération, qui n'avait aucune intention de voir diminuer son prestige après 1991. Participer aux Congrès était considéré à la fois comme un honneur et comme un devoir. La grande machine de la recherche russe était aussi un puissant instrument de propagande et de contrôle intellectuel. À

²⁵ Des discussions acharnées avaient eu lieu en 1968 à Prague: au début de septembre l'académicien V. Georgiev demanda à S. Wollman, alors président du MKS, de lui remettre les enregistrements audios des violentes discussions où les Macédoniens dénonçaient l'oppression des Bulgares. Wollman répondit qu'ils étaient entourés par les armées du Pacte de Varsovie, donc ils avaient détruit les enregistrements. Il souligna aussi que les Congrès ne devaient pas devenir le lieu de batailles politiques (Wollman, *Vědecké a mimovědecké koordináty*, 1998, p. 18-19).

mon avis entraînait en jeu la mégalomanie russe: la diminution des participants devait être perçue comme une humiliation de la grandeur russe. La discussion fut animée, parfois violente. La rupture semblait inévitable, les pays “nouveaux”²⁶ étaient mis à dure épreuve, les pays de l’ex-URSS n’osaient pas prendre position. Allait-on vers la fin de l’institution même des Congrès des Slavistes? Le MKS n’allait-il plus exister? C’était une possibilité réelle.

Quelqu’un avança l’idée que l’organisation du Congrès de 1998 fût confiée à un pays occidental. L’idée fut refusée à la majorité des voix. Et d’ailleurs, quel pays occidental se serait chargé d’une telle machinerie? L’Allemagne devait reconstruire l’Est du pays et était engagée dans la constitution de la nouvelle Croatie. La France avait ses problèmes intérieurs et extérieurs. L’Italie n’entraînait même pas en jeu... L’heure de la conclusion de la réunion approchait, il faisait très chaud, tous étaient fatigués. Je pris le courage de faire une proposition: puisqu’aucune solution ne pouvait être trouvée dans l’immédiat, je proposais d’inviter tous à une nouvelles réunion à Urbino, mon université, pour reconsidérer la question avec calme. Aussi étrange que cela puisse paraître, la tension chuta d’un coup, le sourire gagna les visages, les plus enthousiastes étaient les représentants des pays slaves: l’idée d’un voyage en Italie mit tout le monde d’accord. Il fut facile de décider alors, avant de quitter le beau château de la réunion pour regagner Bratislava, que le prochain Congrès se tiendrait à Cracovie. Au lieu d’une capitale, comme lors des dix Congrès précédents, on choisissait la seconde ville de Pologne. Cela ouvrait aussi la voie à l’inclusion dans la liste des pays-hôtes de pays nouveaux, devenus indépendants depuis peu. Ainsi, à Moscou 1958 répondait Kyiv 1983 (tous deux URSS), plus tard Minsk 2013 (Belarus’ à l’époque, théoriquement indépendante); à Prague 1968 (Tchécoslovaquie) répondait Bratislava 1993 (Slovaquie), à Zagreb/Ljubljana 1978 (Yougoslavie) répondaient Ljubljana 2003 (Slovénie) et Ohrid 2008 (Macédoine).

Les collègues occidentaux (surtout les Européens), Fr. Thomson en tête, bâtirent rapidement et généreusement un dossier pour obtenir des fonds. L’Université d’Urbino m’octroya une bonne contribution, on paya le voyage et le séjour à tous, l’organisation fut relativement facile et rapide. J’eus l’honneur d’héberger chez moi, à Rome, le grand Nikita Ilič, et de le conduire en voiture à Urbino: ce furent un séjour et un voyage mémorables. Tolstoj ne portait pas pour rien son nom et la bague avec l’emblème de famille. Il brillait par son intelligence et une vaste culture, mais aussi par ses manières de grand seigneur courtois et bien élevé, par une religiosité sincère mais pas bigote, par une simplicité de mœurs qui rendait facile la collaboration à tout niveau! Les discussions à Urbino furent longues, mais les esprits étaient détendus et le résultats très satisfaisants. Je peux imaginer que N.I. Tolstoj avait pu consulter des collègues influents et se convaincre que ses craintes étaient excessives. En tout état de cause, l’esprit de collaboration l’emporta, on parvint à des compromis. Tolstoj refusa d’employer le terme anglais de “panel” (associé à un gros mot en russe), mais on créa ce que l’on appelle depuis lors les “blocs thématiques” et des sortes de tables rondes. On insista sur l’opportunité de porter aux Congrès les contributions déjà publiés, sans en faire un dogme – d’ailleurs, l’époque du réseau électronique approchait, la diffusion internet allait bientôt changer beaucoup de choses²⁷. Très peu fut changé en revanche dans la structure des Commissions. Avec le temps, leur nombre s’est accru d’une manière exponentielle, mais du bon travail a été fait (et continue de se faire) grâce à elles. Depuis lors, les Congrès des Slavistes ont la forme que nous avons vue à Cracovie, à Ljubljana, Ohrid, Minsk et Belgrade.

Je n’ai aucune intention de juger de la qualité des Contributions après 1993. J’imagine que c’était comme toujours. Il y avait de spécialistes de grande valeur, de toute façon il y a

²⁶ Je pense à la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie: la Yougoslavie était ravagée par la guerre.

²⁷ À Bratislava, avec la collègue Nicoletta Marcialis, j’avais transporté dans ma voiture les volumes et les tirages à parts des contributions italiennes. Nous en profitâmes pour faire un magnifique voyage à travers la Tchéquie et la Slovaquie, déjà indépendantes. Le tout était très artisanal, fatigant, mais aussi très amusant!

toujours beaucoup à apprendre. Comme pour les mariages du XVI^e siècle, les Congrès offrent l'occasion d'écouter des essais intéressants et des panégyriques, d'avoir des discussions "philosophiques" et (plus ou moins) scientifiques, quelqu'un s'attend à un prix ou une distinction, on lie des amitiés et des plans de collaboration.

Y-a-t-il donc encore un sens à l'énorme effort d'organisation (et de dépenses) qu'un Congrès des slavistes implique? Avant 1989, les Congrès offraient aux chercheurs du monde entier l'occasion de se connaître et de discuter. Internet n'existait pas, le rideau de fer fonctionnait pour les personnes, mais aussi pour les livres et les informations, qu'on recevait souvent par connaissance personnelle. Les conversations téléphoniques étaient rares et parfois difficiles. Les séjours à l'étranger étaient strictement limités dans les pays de l'URSS et dans la Tchécoslovaquie. Seules, la Pologne, la Yougoslavie et (partiellement) la Bulgarie avaient des contacts larges et continuels avec l'Europe occidentale. Les Congrès ont donc donné une contribution remarquable à l'échange d'idées et au développement de la slavistique. Tout en considérant les énormes changements introduits par internet et qui viendront de l'IA, et en tenant comptes des Congrès organisés par AAEEES, je pense qu'une rencontre des slavistes, surtout des philologues (au sens le plus large du terme), tous les 5 ans n'est pas dépourvue de signification. Il est difficile de prévoir ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années. D'ailleurs ce seront les nouvelles générations qui pourront (ou devront) choisir. Personnellement je ne puis que remercier le sort qui m'a donné la chance de vivre la plus longue période de paix que l'Europe (et le monde) ait vécue. Et aussi de suivre le développement des Congrès des Slavistes pendant presque 50 ans. Le futur ne semble pas aussi clair, mais je continue à croire que des solutions nouvelles s'offriront, même si dans les mois présents ce sont les guerres et les conflits de tout sorte qui occupent nos pensées... Je ne peux (et ne veux) pas croire à la fin de ce monde, et même pas de la slavistique!

27.06.2025

Allocution à la séance plénière d'ouverture du XVII^e Congrès international des Slavistes à la Sorbonne

LA RUSSIE À NOUVEAU ABSENTE ET PRÉSENTE

Georges NIVAT

Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, vous me pardonnerez, je l'espère, de donner à cette allocution une tournure personnelle. La définition de ce Congrès comme extraordinaire, le temps angoissant que nous vivons, et, enfin, mon âge l'ont exigé de moi.

Mes premiers contacts avec la Russie et la langue russe sont dus à des émigrés.

Le premier était allemand, réfugié de Tilsit. Nous fîmes connaissance en 1950 à Francfort-sur-le-Main où je passais quelques mois. Il me lut le dernier récit du troisième Tolstoï « Le caractère russe ». Ainsi j'appris d'emblée que le pathétique, chez les Russes, prime sur la vérité.

Le second émigré habitait Clermont-Ferrand, ma ville natale. Guéorgui Nikitine avait été enrôlé par Denikine, avait vécu une déroute terrible, s'était retrouvé sans un sou à Istanbul, comme tant de réfugiés décrits par Mikhaïl Boulgakov. Il avait réussi à se faire embaucher comme chauffeur sur un cargo pour Marseille. Et s'était retrouvé à Clermont-Ferrand.

La Russie des émigrés est donc fondamentale pour moi. J'ai connu la première émigration, Vladimir Weidlé, Guéorgui Ivanov, Boris Zaitsev. De la seconde, qui suivit la défaite allemande, je rencontrai quelques épaves qui devinrent des amis, mais ils se taisaient sur leur propre parcours d'émigré. La troisième m'apporta de très nombreux amis, Andreï Amalrik, Vladimir Maximov, Viktor Nekrasov, Natalia Gorbanevskaïa, Ernst Néizvestny, pour n'en citer que quelques-uns. Et maintenant la quatrième dont nous venons d'entendre l'éminent et si magnifique conteur Boris Akounine.

Bien sûr, j'ai aussi vécu en Russie soviétique, deux ans comme étudiant, où j'ai connu de près Boris Pasternak, et dont je me suis fait expulser en août 1960, à la veille de mon mariage. Il m'a fallu douze ans pour y retourner. Puis ce fut la joie d'une Russie libérée, celle de Boris Eltsine, d'y voyager à mon gré, de Pskov à Vladivostok, jusqu'au fond des campagnes, en des lieux reculés où la pauvreté était grande, mais les gens rencontrés souvent fiers et passionnants à écouter. Ce fut, dans ma vie de russisant, un grand moment de bonheur.

Aujourd'hui, j'ai l'impression de revenir à la Russie des émigrés, de revenir à « La Russie absente et présente », pour employer l'expression remarquable de Vladimir Weidlé. Weidlé, qui avait si bien maîtrisé la langue du pays où il était réfugié qu'il inventa pour la version française de ce livre ce titre magnifique, alors que la version russe avait le titre banal de « Наши задачи ». L'émigration pouvait enrichir énormément les poètes, écrivains, peintres, musiciens, sans abolir la nostalgie. Ici la Russie est absente *in corpore*, mais présente par des écrivains, des chercheurs. Présente par sa langue, sa musique, sa poésie, sans laquelle je ne pourrais vivre.

Absente à cause d'une guerre fratricide qu'elle a lancée contre l'Ukraine, en interdisant dans sa novlangue de l'appeler guerre. L'Ukraine souffre depuis trois ans d'une agression insensée. Personnellement je n'en perçois pas la fin, n'en déplaise au président Trump, fasciné par la puissance des tyrans. Cette guerre est menée contre une nation-sœur, qui a fait partie pendant trois siècles de l'empire russe, a été provincialisée, colonisée, tout en jouant un grand rôle culturel.

Pour comprendre cette situation, j'ai relu Thomas Mann qui a dû quitter l'Allemagne nazie en 1933. Mann, étrangement, a mis trois années avant de se décider à marquer sa rupture totale, alors que son fils Klaus l'y poussait. Rompre avec une patrie n'est pas facile. Et puis au milieu de la Seconde Guerre mondiale, il écrivit un petit texte intitulé en allemand « Das Gesetz », « La loi ». Avec un certain Moïse monté sur le Sinaï, qui reçoit du Dieu invisible les Tables de la loi, nous dit Mann, est née une époque de l'humanité, environ trois millénaires, où, petit à petit, la loi s'est imposée. Or la Loi entrave le fort qui veut établir un semblant de loi, qui n'est autre que son pouvoir discrétionnaire. Cette longue époque s'achève, écrit Mann dans ce livre d'une clairvoyance à faire peur. Car Mann avait vu terriblement juste. Un peu plus tard, dans une de ses émissions radiophoniques pour la BBC, en allemand, il déclara : « Mes chers compatriotes, la meilleure chose qu'il puisse nous arriver est une défaite complète ». C'est dire combien le parcours de Thomas Mann fut douloureux et clairvoyant. Il peut nous éclairer.

À sa façon aussi le Léon Tolstoï du brûlot de 1908 intitulé « Не могу молчать », « Je ne peux me taire », peut et doit nous éclairer, et surtout éclairer la Russie ici absente. Tolstoï a donné à la Russie la force incroyable de ce que plus tard on a baptisé « la dissidence ». Et ses enfants, de ce point de vue, sont Soljenitsyne, Sakharov, le général Grigorenko, qui ont pris la suite, lorsque le Goulag a envahi la Russie de son archipel et de sa lèpre. Il est des moments où la loi, celle de Moïse, exige de ne pas se taire. Mais de cela, chacun reste juge pour soi-même.

« Да брат мой от меня не примет осуждения », dit Pouchkine dans un de ses plus émouvants poèmes et il me revient en mémoire quand je suis moi-même tenté de juger ceux qui restent et qui se taisent..

La Russie depuis Staline est habituée aux disparitions. Disparitions des leaders : tous les compagnons de Lénine torturés et humiliés par le procureur des grands procès de Moscou, dont j'ai dans ma bibliothèque les « Actes », publiés en français par le Ministère soviétique des Affaires étrangères. Un témoignage de 600 pages littéralement destructeur d'humanité. Et puis les disparitions qui s'ensuivent : photos et textes caviardés. Dans chaque maison disparition du voisin, dans chaque bureau, chaque entreprise, disparition du collègue, de l'apprenti, du directeur. Dans chaque famille disparition du fils, même encore collégien, du père, du mari, de l'ex-mari que l'on a soi-même dénoncé. Avec les grandes séances de repentir où l'on s'accuse d'avoir été aveugles.

Le Journal d'Olga Bergholtz est à ce titre extraordinaire. Jusqu'à la veille de son arrestation en 1937, quand elle encore une très jeune poétesse, elle suffoque d'admiration pour Staline. Les disparitions de ses collègues aux éditions pour enfants « DetGuiz » que dirige Samuel Marchak et qui, lui, fut finalement épargné (et comblé de Prix Staline), sont dues, pense-t-elle, à sa propre ignorance des perfides ruses de l'ennemi. Olga fut sauvée par la disparition de Iéjov, puis paradoxalement par la guerre, qui fit d'elle le chantre incontesté et pathétique du blocus de Leningrad. Autre exemple, Sergueï Tretiakov, talentueux poète, photographe, metteur en scène, dramaturge, ami de Maïakovski, de Brecht, de Meyerhold. Il devint marxiste, oui, mais il pensait qu'en art il voyait plus juste que les bolcheviks. Il n'était pas le seul à le penser, or il leur fallait apprendre que le seul clairvoyant était le Père absolu, le Guide suprême des arts, de la littérature, du cinéma, de la linguistique, l'humble camarade Staline. Tretiakov sentait-il le ras de marée s'approcher de lui ? Il tombe malade, en dépression et est soigné à l'Hôpital du Kremlin. En juin 1937 il est arraché à son lit d'hôpital pour être fusillé.

Ah, l'année 1937 ! Rentré dans la patrie, un immense compositeur, Serge Prokofiev, compose sa cantate « Hourrah pour Staline ». Le chœur y chante magnifiquement : « Jamais plus joyeuse / Pour nous ne fut la vie. / Le soleil est plus brillant. / Car chez Staline / Au Kremlin il est passé ».

Staline aimait déconcerter par des indulgences inattendues. Ce fut le cas pour Pasternak, Boulgakov, Akhmatova, Zochtchenko. Normalement ils auraient dû finir dans le hachoir, dont parle Iosif Brodski dans sa pièce « Marbre », comme Meyerhold, comme Babel, comme Mandelstam et tant d'autres martyrs, écrivains, historiens, acteurs, devenus alors, comme Pilniak, « espions du Japon », aujourd'hui « agents de l'étranger »...

Mais au prix de quelles souffrances – révélées par Chostakovitch dans ses extraordinaires « Mémoires » dictées à Solomon Volkoff. Hanté par le suicide, il dit à Solomon : « La peur m'avait terrorisé, je ne voyais aucune autre issue. Je n'étais plus maître de ma vie ». Ilf et Petrov avaient, à leur façon, humoristique en apparence, tragique en profondeur, défini la règle nouvelle : « Il ne suffit pas d'aimer le régime soviétique, il faut encore qu'il t'aime. » Chostakovitch haïssait le régime. Le régime l'asservissait.

Dans son poème « L'Été », Pasternak, qui avait passé l'été à Irpègne, station de vacances proche de Kiev, a chanté le bonheur : « Irpègne, c'est l'été qui revient en mémoire, / Les gens et l'air libre et les chaînes brisées ».

Pour Yulia Berezko-Kaminskaïa, poétesse et journaliste ukrainienne, rescapée de Boutcha et accueillie à Cracovie, Irpègne veut dire massacre : « Les chars foncent sur Irpègne et Boutcha, / Tous marqués « On vient t'affranchir ».

Car aujourd'hui, le bonheur est lui aussi dans le hachoir, le hachoir où termine l'un des deux personnages de la pièce « Marbre ». Le grand poète Rilke, russophile quasi mystique, ami du peintre Léonid Pasternak, et qui tint le petit Boris sur ses genoux, eut du mal à comprendre que la Russie avait changé après Octobre 1917, qu'elle n'était plus « sainte », qu'elle pratiquait une cruauté inouïe et diabolique. Combien de nos contemporains ont, eux aussi, du mal à comprendre que l'époque a radicalement changé, que le massacre avance comme le raz de marée à la fin du film de Sokourov « L'Arche russe ». Certes, comprendre les changements d'époque est toujours difficile – nous l'éprouvons tous, où que nous soyons. Chacun doit se situer par rapport à l'ère nouvelle, ère d'agression, de massacres, ère nouvelle, qui met fin à l'ère des Tables de la loi données à Moïse sur le Sinaï.

Pour ce qui est de moi, j'ai entrepris, dès la prise du Donbass, d'apprendre l'ukrainien. J'avais enfin compris que mes études de russe à la Sorbonne ou à Oxford implicitement m'avaient fait épouser sans vraiment m'en rendre compte l'impérialisme russe. J'avais enfin lu le « Livre de la Genèse du peuple ukrainien des onze conjurés de la Confrérie Cyrille et Méthode », magnifiquement présenté et traduit en français par un professeur de Bordeaux, Luciani, j'avais enfin compris qu'Alexandre II, le tsar libérateur, avait aussi non seulement réprimé dans le sang les Polonais, lors de leur deuxième insurrection, mais également interdit la langue ukrainienne par la circulaire Valouïev. Interdiction renouvelée par Staline, qui arrête et liquide les poètes de la Renaissance ukrainienne des années 1920. Et une fois de plus, la langue, la culture ukrainienne ont été entièrement niées par le président Poutine dans son discours de 2021, qui traçait la route de la future invasion.

Il fallait que je juge par moi-même : l'ukrainien était-il une langue, comme le sont le russe ou le polonais, mes deux langues slaves apprises à la Sorbonne, ou un simple dialecte ? La réponse est que l'Ukrainien est une belle langue, infiniment différente de la langue russe, malgré des similitudes de vocabulaire. Les différences m'enchantent, comme d'ailleurs celles de toutes les langues au monde.

J'ai entrepris de traduire le poète Vasyl Stus, le second poète national ukrainien. Il m'a hypnotisé. J'ai publié à Kiev un livre bilingue avec mon étude sur Stus. On en est à la seconde édition. Ses deux recueils, *Palimpsestes*, sont un chef d'œuvre européen. Rilke, Goethe et Pasternak sont d'ailleurs ses dieux (un poète russe, comme vous voyez, est dans son panthéon). Sa traduction des *Élégies à Duino* de Rilke fut jetée au feu par ses gardiens. Celle des *Lettres à Orphée* a survécu. Il traduisait mentalement quand il était au cachot, au « sizo », ce qui lui arrivait fréquemment. Il y est mort en 1985 d'une grève de la faim menée

à son terme. Ses paysages de la Kolyma, où il fut bagnard, sont magnifiques, et paradoxalement il y découvrit l'Absolu. Le Dieu de Moïse lui rendit visite dans l'enfer blanc.

À tous les négationnistes passés, présents, et futurs de l'Ukraine il opposait, comme Luther, son *non possumus*, persuadé qu'à lui seul, à des milliers de verstes de son Ukraine natale, il personnifiait l'Ukraine. Ou plutôt, il EST l'Ukraine.

Je n'ai pas le temps de parler longuement de Vasyl Stus. Je vais publier un livre de 600 pages pour donner sa poésie, ses notes du goulag, ses lettres aux siens, son article sur le poète Tytchyna qui s'est vendu à Staline, et qui donc « est monté au Golgotha de la gloire », car les prix Staline étaient aussi des Golgotha, comme pour Fadéev, qui finit par un suicide.

Aussi voudrais-je conclure par six vers de Vasyl Stus, que je dirai d'abord dans ma traduction, puis dans l'original – que les Ukrainiens présents dans cette salle voudront bien me pardonner :

Ô mon peuple, à toi j'irai, reviendrai,
Quand, par la mort, je reviendrai à vie
En ma face de douleur et bonté.
Moi, ton fils, je tomberai face à terre,
Et probe, plongerais en tes yeux probes.
Même mort, en ta fratrie, je reviendrai.

Народе мій, до тебе я ще верну,
Як в смерті обернусь до життя
Своїм стражденним і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
І чесно гляну в чесні твої вічі
І в смерть із рідним краєм поріднюсь.

Merci, спасибо, дякую !

Allocution à la séance plénière d'ouverture du XVII^e Congrès international des Slavistes à la Sorbonne

A LA RECHERCHE DE COMPOSANTS PERDUS : OBSERVATIONS SUR LES COMPOSÉS NOMINAUX SLAVES OBSCURCIS

Aleksandar LOMA

Ce titre, d'allure proustienne, a été choisi pour désigner une orientation de recherche que j'ai poursuivie des décennies durant. En m'occupant de l'étymologie slave et indo-européenne, je me suis constamment efforcé de mettre en lumière des composés devenus méconnaissables en tant que tels, obscurcis de diverses manières : réanalysés, décomposés, réinterprétés ou mutilés. Rétablir d'anciens composés à partir de leurs formes secondaires est une entreprise risquée, et je suis conscient que les étymologies de ce type, proposées par moi comme par d'autres, ne sont le plus souvent que des conjectures. En cherchant à éclairer les recoins obscurs du lexique, il arrive qu'on s'égaré dans les ténèbres. Malgré ces risques, ces recherches ne sauraient être considérées comme une perte de temps, car elles ouvrent, en définitive, de nouvelles perspectives diachroniques pour une étude approfondie, non seulement de l'histoire des langues slaves, mais également de leurs fondements culturels.

Le slave commun, tel qu'on le reconstruit à son dernier stade préhistorique, vers le milieu du premier millénaire de notre ère, privilégiait, dans la formation des noms, la dérivation plutôt que la composition. La situation changea avec la mission cyrillo-méthodienne. On sait bien que le vieux slave est une langue de traduction, riche en composés pour la plupart calqués sur le grec, dont peu ont véritablement pénétré dans l'usage courant. Cette histoire ne relève pas directement du cadre de mon exposé, mais il convient de souligner qu'il s'agit d'une langue empreinte de solennité, nettement distincte de la langue parlée. Créée avant tout pour les besoins de la liturgie chrétienne, elle servait principalement de moyen de communication avec Dieu et de réception de sa Parole. Cette variété sacrée et littéraire de la langue représentait-elle une nouveauté absolue pour les Slaves, ou bien n'a-t-elle fait que remplacer une forme analogue déjà existante dans leur tradition païenne orale ?

À cette occasion, je souhaiterais reprendre en quelques mots le thème de mon intervention au quatorzième congrès, tenu à Ohrid il y a dix-sept ans. J'y avais alors traité du sujet « *Niveaux stylistiques et sociolinguistiques du slave commun – Vocabulaire et formation des mots* ». Le point central de mon exposé portait sur l'existence, chez les anciens Slaves dans leur passé pré-littéraire, d'une tradition orale rattachée à la haute variété de l'indo-européen commun, désignée sous le nom de « *langue poétique indo-européenne* », objet de la reconstruction comparative depuis un siècle et demi.

On retrouve, chez Homère comme dans les poèmes de l'Edda, l'idée d'une « langue des dieux » opposée à celle des hommes. Dans les passages pertinents de la tradition homérique et eddique, cette opposition se manifeste avant tout sur le plan lexical, par un choix différencié des mots. En règle générale, les termes associés aux hommes sont des mots courants, sémantiquement non marqués, tandis que ceux réservés aux dieux appartiennent à un lexique rare, marqué, relevant du vocabulaire poétique. Une telle distinction entre un degré inférieur et un

degré supérieur du langage suggère que le berceau de la poésie orale, du moins chez les Indo-Européens, se trouvait dans les rites, et plus précisément dans leur composante verbale : invocations et prières versifiées adressées aux entités suprahumaines, dans une langue supposée intelligible pour elles. L'opposition, mise en lumière par Mircea Eliade, entre le profane et le sacré dans la perception archaïque du temps, implique que la langue des dieux appartenait au temps sacré : un temps à rebours, orienté non pas dans le déroulement linéaire du temps profane, mais en amont, vers sa source, c'est-à-dire vers les origines mythiques du monde. C'est à la réactualisation rituelle de l'œuvre divine de création qu'une part du temps humain était ainsi consacrée.

À la différence de notre conversation quotidienne, où l'on tend à économiser les mots en laissant implicite ce qui est sous-entendu ou présupposé par le contexte, la variété poétique ou « divine » de l'indo-européen, utilisée pour la communication avec le surnaturel, n'était pas soumise à de telles restrictions. Chantée ou récitée dans un temps sacralisé, cyclique et anhistorique, elle se distinguait de la langue parlée non seulement par sa structure métrique, mais aussi par sa tendance inverse : amplifier, répéter et privilégier l'expression descriptive plutôt que les désignations conventionnelles. En conséquence, elle favorisait la composition à la dérivation. C'est peut-être pourquoi, lorsqu'on tente d'expliquer un mot obscur, l'interprétation en tant que composé jusqu'alors méconnu conserve une dimension poétique, tandis que l'identifier comme un dérivé paraît assez banal. On pourrait soupçonner qu'il ne s'agit là que d'une question de goût, d'une attitude personnelle, méthodologiquement peu fondée. Quoi qu'il en soit, il est grand temps qu'après ce prologue homérique sous un titre proustien, nous abordions ce qui constitue le véritable thème défini dans le sous-titre : des observations méthodologiques sur les composés nominaux slaves, obscurcis d'une manière ou d'une autre avant leur première attestation.

Pour moi-même, ainsi que pour les autres collaborateurs travaillant sur le projet du dictionnaire étymologique de la langue serbe, publié en deux versions — l'une exhaustive (ERSJ) et l'autre concise (PERSJ) — le quatrième volume de la *Grammaire comparée des langues slaves* d'André Vaillant a été, dès le début, et demeure jusqu'à aujourd'hui, le manuel de prédilection et l'ouvrage de référence en matière de formation des noms dans les langues slaves. Par conséquent, ma recherche des composés perdus prend en règle générale son point de départ dans les mots que Vaillant jugeait problématiques ou inanalysables.

Un tel mot est le vieux-slave *monisto*, russe *monísto* « collier », que Vaillant considère comme une « formation inexpliquée », bien qu'on en reconnaisse le thème, à savoir *monĩ* « nuque, cou », qui sert de base aux dérivés désignant à la fois le collier et la crinière. Quant à la finale *-sto*, plutôt que d'y voir un suffixe isolé, je suis enclin à l'interpréter comme le correspondant régulier des adjectifs verbaux sanskrits *ditá* et grecs *δετός* « lié, attaché », le groupe *st* résultant de *dt* après la chute de la laryngale interconsonantique. Du point de vue sémantique, bien qu'un dérivé suffixal signifiant « relatif au cou » puisse, en principe, désigner le collier, ce n'est qu'en l'interprétant comme un composé « attaché au cou » que le mot prend tout son sens.

Le même **monĩ-* « nuque », me semble-t-il, se retrouve dans les formes *κοήν* / *κομοήν* « cheval ». Les deux variantes attestées peuvent être rapportées au slave commun **къмоһъ*, réduit après l'amuïssement des jers faibles à **кмоһъ*. De là proviennent, d'une part, *κοήν* par haplologie ou dissimilation régressive, et d'autre part *κομοήν* par insertion d'un *o* secondaire svarabhaktique en position initiale. Le proto-slave **kǔmonjo-* remonte, avec la chute régulière de *p-* devant consonne, à l'indo-européen **pku-monjo-o-* « au cou velu ». À l'origine, il devait s'agir d'une épithète ornementale appliquée aux chevaux, comparable au grec *λασι-αύχην* « à la nuque velue ». Mais, dans le syntagme slave, le déterminant s'est tôt affranchi de son déterminé —

probablement un continuateur de l'indo-européen **ékulos* « cheval » — et a fini par le supplanter dans la langue parlée, devenant la désignation non marquée, prosaïque du cheval, tout en conservant son caractère poétique.

Dans les traditions épiques des Slaves du Sud et de l'Est, on relève un grand nombre de formules correspondantes, témoignant de l'existence d'une épopée orale à l'époque slave commune. Deux au moins mettent en œuvre **ko(mo)ńĩ*, dans les syntagmes « bon cheval » et « rapide cheval ». Or, le cheval, d'une importance capitale non seulement dans la vie quotidienne des anciens Indo-Européens, mais aussi dans leur culte et leur mythologie, a trouvé place dans les formules de la langue poétique indo-européenne, auxquelles les formules slaves offrent des correspondances, sinon étymologiques, du moins sémantiques. Ainsi, notre étymologie, hypothétique certes, s'inscrit dans le cadre plus large de l'histoire culturelle. Il convient de noter enfin que le russe *monisto* appartient lui aussi au vocabulaire de la tradition épique orale (*былинный эпос*) du Nord de la Russie.

Les composés **moni-sto* et **pku-moni-o-* n'étaient déjà plus analysables à l'époque du slave commun, car aucun de leurs composants n'est attesté dans les langues slaves. Même si un substantif **peku-*, signifiant « bétail à toison », et un verbe **děti*, « lier », avaient existé dans le vocabulaire proto-slave, il n'aurait pas été possible d'en reconnaître la parenté avec les éléments **ku-* et **-sto*, développés respectivement à partir de **pku-* et **dto-*, conformément aux lois phonétiques.

En recherchant des composés slaves obscurcis, il faut d'abord se concentrer sur les dérivés formés avec des suffixes rares ou isolés. Mais, dans certains cas, il est nécessaire d'examiner aussi les suffixes productifs. C'est le cas, par exemple, du s.-cr. *žēńk*, *-ika*, « jeune époux ». Ce mot paraît être un dérivé du type **mōž-ikъ* ou **plēń-ьnikъ* ; en réalité, il s'agit d'un remaniement tardif du v. sl. *ženixъ*, dont la finale *-ixъ*, isolée, avait été interprétée par Vaillant « sûrement hypocoristique de *ženimъ* '(fils) à marier' ». Quelques années plus tard, Szemerényi a proposé une autre analyse : il s'agirait d'un composé **g^ueni-is-o-*, « celui qui cherche une femme », dont le second terme, verbal, **is*, correspond à *iskati*, et au védique *-is(a)* dans *gaviṣ-*, *gaviṣá-*, « désirant des vaches », c'est-à-dire « désireux » en général, ce qui me paraît plus plausible.

Avec *ženixъ*, nous avons abordé la question du sandhi interne, c'est-à-dire l'hiatus qui se produisait à la jonction de deux composants lorsque le premier se terminait et le second commençait par une voyelle. Un tel hiatus pouvait être résolu par la fusion des deux voyelles en une voyelle longue ou en une diphtongue. Cette contraction entraînait l'effacement de la borne morphologique et, par conséquent, l'obscurcissement de la structure composée du mot, qui finissait par prendre l'apparence d'un dérivé isolé.

C'est précisément le cas de *ženixъ*, où deux *i* brefs se sont unis en un *ī* long. L'exemple type, pour moi, est le slave commun **rōkavъ* « manche ». Vaillant l'avait interprété comme un adjectif en *-avъ* substantivé. Mais une telle formation, isolée, paraît peu convaincante : il s'agit plutôt d'un composé obscurci balto-slave **ranka-avas* > **rankāvas*, le second terme *-avas* se retrouvant en lit. *āpavas* « chaussure », dérivé du verbe *ap-aũti* « vêtir », qui correspond au slave **ob-uti* « chausser ». La voyelle longue issue de cette contraction est en effet d'intonation douce, comme on le constate dans les formes serbo-croates *rùkāv*, *rukáva*, russes *rukáv*, *rukavá*, *ženih*, *ženihá*.

Pour éliminer l'hiatus interne, l'alternative à la contraction consistait dans l'épenthèse d'une consonne d'appui entre les deux voyelles, le plus souvent les sonores *j* ou *ɥ*, les mêmes qui, en slave, jouent un rôle de prothèse devant une initiale vocalique. De cette manière, la structure syllabique du composé était préservée. Mais, dans certains cas, un -

μ- épenthétique, développé dans les composés, semble avoir eu des répercussions sur la forme simple du second terme, en y donnant naissance à un *μ*- prothétique.

Un bon exemple est le nom balto-slave du porc mâle, sauvage ou domestique : slave *veprь*, lette *vepris*. Ce *v*- initial est difficile à expliquer si l'on le compare à ses correspondants germaniques et italiques. Mais si, à en juger par la glose hésychienne ἔβρος « bouc montant », on admet que **epro-* désignait à l'origine le mâle reproducteur en général, alors un composé **sū-ep-* paraît possible, voire probable, pour déterminer l'espèce porcine de l'animal. Dans ce composé, l'hiatus à la jointure des deux termes a pu être résolu, derrière [u:], par le développement d'un *v* épheleystique. Celui-ci, à la suite de la décomposition subséquente, s'est transformé en prothétique, restreignant progressivement la signification originelle de **ep-* aux seules espèces porcines.

J'envisage ici, pour la première fois, la possibilité d'interpréter de manière analogue le nom balto-slave du corbeau : v.-sl. *vranь*, lit. *vařnas*. Plus que vingt ans auparavant, j'ai proposé une nouvelle étymologie de slave **gavornь* 'corbeau', basée sur la supposition que cette forme, aussi bien que la variante slave de Sud *garvan*, pol. *garwon* ne sont que continuations différemment dissimilées de la forme à deux *r* **garvornь*, qui serait immédiatement reflétée dans serbo-croate *grävran*. On considèrerait cette forme secondaire, issue de *gavran* par anticipation du *r* ou par onomatopée d'après *grakati* « croasser », mais maintenant une attestation vieille serbe de 1376 laisse penser qu'il s'agit d'une formation ancienne, autrefois largement répandue. Je pars de l'hypothèse d'une protoforme **gārū-arna-*, dont le premier élément correspond au grec γῆρυς, dor. γᾶρυς « voix », γηρύω, γᾶρύω « faire entendre sa voix, faire connaître, chanter ». Selon Chantraine, il s'agit d'un terme noble et religieux, récemment reconnu par Laura Massetti comme l'un des éléments de la lyrique chorale grecque remontant à la langue poétique indo-européenne. Le second terme **arna-* serait le nom indo-européen d'oiseau, grec ὄρνις en particulier d'un oiseau grand, l'aigle dans hittite *ḫaran-*, proto-germanique **aran*, un thème en *-n*, thématisé dans vieux haut allemand *arn*, vieil anglais *earn*; de la même racine est dérivé le nom balto-slave de l'aigle, v. sl. орѣлъ, lit. *arėlis*. Chez Pindare on trouve une mise en relation contextuelle entre deux ou plusieurs corbeaux, le verbe et les termes γᾶρύω et Διὸς ὄρνιξ, ce qui est l'aigle. Le corbeau est, lui aussi, un oiseau grand, le plus grand des oiseaux chanteurs, connu pour son intelligence et sa capacité à imiter des sons et des voix. Par cette étymologie j'ai séparé **gavornь* de son synonyme **vornь* 'corbeau', lituanien *vařnas*, en acceptant l'opinion commune qu'il s'agit de l'adjectif **vornь* 'noir' substantivé, servant à désigner l'oiseau d'après sa couleur. Mais, si l'on adopte une perspective balto-slave, les choses apparaissent autrement. En effet, le substantif **vornь* correspond exactement au lituanien *vařnas* « corbeau », tandis qu'un adjectif équivalent correspondant demeure inconnu du balte. Dans les autres langues indo-européennes, on ne trouve, ni pour l'un ni pour l'autre, que des rapprochements trop vagues. Cela conduit à penser qu'il s'agit d'innovations : le nom du corbeau remonterait à l'époque balto-slave, tandis que l'adjectif « noir » ne serait qu'une création ultérieure, propre au slave. Autrement dit, ce dernier aurait été issue de l'ornitonyme par son adjectivisation, dans le sens de « ressemblant, par sa couleur, au corbeau ». Aussi, j'ai laissé de côté alors les variantes **kavornь* 'corbeau', **kavorna* 'corneille' bien que ces formes en *k-* trouvent des correspondants baltes : en lituanien *kóvarnis* « freux », en lette *kuōvārna* « choucas ». Pour **kavornь*, la dérivation par haplologie de **kóva-varnis* à partir du premier élément **kóvas* « freux » reste possible, même s'il pourrait s'agir d'une réanalyse tardive. Au moins la forme lette *kuōvārnis* témoigne d'un **ō* et non d'un **ā* long dans l'initiale, ce qui plaide pour une dérivation à partir du balto-slave **kōv-* « freux », transmis en slave dans la forme diminutive **kav-ьka*, indiquant que le choucas fut désigné par les Slaves comme « le petit freux ». La variante **čavьka* montre qu'il ne s'agit pas

d'une onomatopée, mais bien d'une racine indo-européenne présentant l'apophonie régulière \bar{o}/\bar{e} , apparentée probablement au grec κοέω, au latin *caveō* et au slave * *čŭti* « percevoir, observer ». Dans cette perspective, le balto-slave **kōv-arn-* « oiseau à observer » devait être un terme d'ornithomancie, c'est-à-dire de divination fondée sur l'observation du vol et du cri des oiseaux, et désignait à l'origine le corbeau, oiseau oraculaire par excellence parmi les Corvidés. En grec également, des désignations indo-européennes d'oiseaux de grande taille, comme ὄρνις et οἰωνός, ont pris le sens de « présage, augure, auspice ».

Les composés **gār-v-arn-* et **kōv-arn-* furent, dès l'époque balto-slave, réinterprétés comme **gār-varn-* et **kō-varn-*, d'où, par décomposition, ont pu naître les termes simples *varnas*, *varnis*, *varna* désignant le corbeau, la corneille et d'autres espèces de cette famille. J'en conclus donc que l'indo-européen **orn-* « (grand) oiseau » survit en balto-slave dans une forme augmentée d'un *v-* initial, sa signification originelle étant restreinte aux Corvidés.

Cette histoire du corbeau illustre la manière dont un mot composé a pu être analysé différemment aux divers stades de la glottogenèse, ce qui autorise à proposer plusieurs étymologies plausibles, en admettant qu'il soit assez ancien pour avoir subi une ou plusieurs réanalyses successives.

Pour finir, je rappelle que les exemples illustratifs proposés dans mon exposé demeurent de nature conjecturale. Mon intention n'était que de mettre en évidence les possibilités d'approfondissement méthodologique dans l'étude des composés slaves anciens.

loma.aleksandar@gmail.com